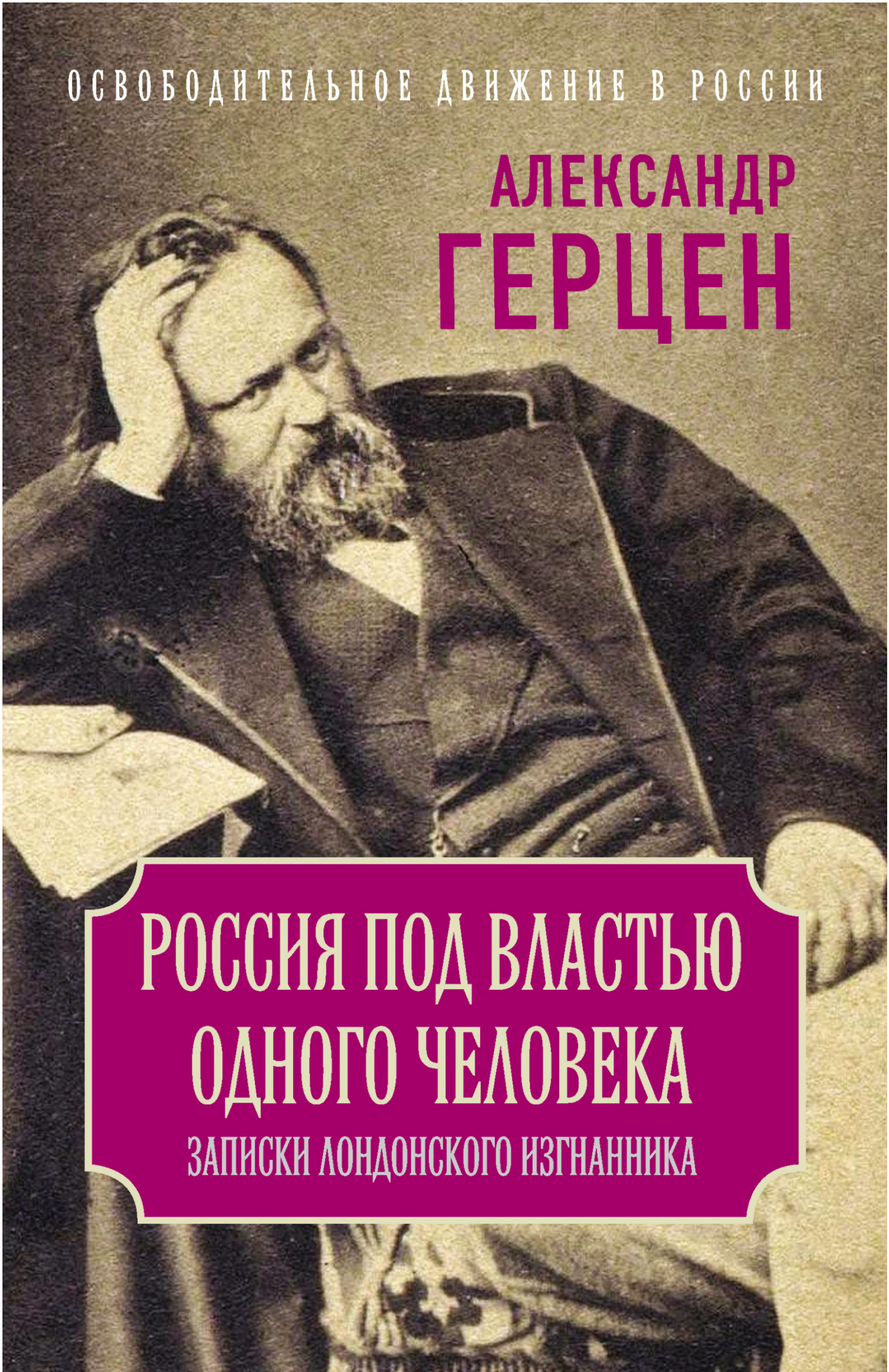
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ

АЛЕКСАНДР
ГЕРЦЕН



РОССИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗАПИСКИ ЛОНДОНСКОГО ИЗГНАННИКА

Освободительное движение в России

Александр Герцен

Россия под властью одного человека. Записки лондонского изгнанника

«Алисторус»
1849

УДК 327
ББК 66.4

Герцен А. И.

Россия под властью одного человека. Записки лондонского изгнанника / А. И. Герцен — «Алисторус», 1849 — (Освободительное движение в России)

ISBN 978-5-00180-346-1

«Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, что и другие. На самом деле это совсем не так. Россия – это особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека. Именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях это – олицетворение произвола», – писал Александр Герцен выдающийся русский публицист, писатель, общественный деятель. Он хорошо знал особенности российской жизни, встречался с высшими руководителями государства, служил в государственных учреждениях, дважды побывал в ссылке и, в конце концов, вынужден был покинуть Россию. В своих воспоминаниях и статьях Герцен не только ярко описал обстановку в стране, но сделал глубокие выводы о русском пути развития, о будущем России. Многие его мысли актуальны и поныне. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 327
ББК 66.4

ISBN 978-5-00180-346-1

© Герцен А. И., 1849
© Алисторус, 1849

Содержание

Пожар Москвы. Патриотизм 6
Смерть Александра I и 14 декабря. Террорист Буша 14
Клятва на Воробьевых горах 19
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Александр Герцен
Россия под властью одного человека. Записки лондонского изгнанника

© ООО «Издательство Родина», 2022

* * *

Пожар Москвы. Патриотизм

…– Вера Артамоновна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, – говаривал я, потягиваясь на своей кроватке, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и завертываясь в стеганое одеяло.

– И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встанете, – отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне – его слушать.

– Да вы немножко расскажите, ну, как же вы узнали, ну, с чего же началось?

– Так и началось. Папенька-то ваш, знаете какой, – все в долгой ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили, пора ехать, чего ждать, почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой. Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный, да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил», – так у нас у всех сердце и опустилось, сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим – а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш папенька и остался у праздника, да и вы с ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такие были тщедушные да слабые.

И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.

– Сначала еще шло кое-как, первые дни то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают, нет ли выпить; поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся; вот Павел Иванович говорит: "Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные" – Пошли мы, и господа и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть – добрались мы, наконец, до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем, там останемся сохранны; сели, пригорюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных, один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хвать, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де каких ассигнаций или брильянтов, видит, что ничего нет, так нарочно, озорник, изодрал пеленки, да и бросил. Только они ушли, случилась вот какая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал: "Лошадь наша, я тебе ее не дам". Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: "Оставь лошадь, не твое дело". Куда ты! Платон выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще Да еще. Ну, думаем, мы, – теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив; лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню, должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее, измученные, не евши, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди с улицы кри-

чат: "Выходите, выходите, огонь, огонь!" – тут я взяла кусок равендюка с бильярда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Твертской площади, тут французы тушили, потому что их набольшой жил в губернаторском доме; сели мы так просто на улице, караульные везде ходят, другие, верховые ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка, она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас – и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, «манже»; они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: "Але, але", а она их ругать, – экие, мол, окаянные, такие, сякие, солдаты ничего не поняли, а таки вспрыснули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные домы, так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер…

* * *

Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы, он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав родную речь, обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и леванский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.

Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней нечищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец – поклонник приличий и строжайшего этикета – явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.

Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского.

После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.

Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.

– Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина, – будет им война.

После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.

– Я пропусков не велел никому давать, зачем вы едете? чего вы боитесь? я велел открыть рынки.

Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади средь неприятельских солдат не из самых приятных.

Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:

– Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? на этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.

– Я принял бы предложение вашего величества, – заметил ему мой отец, – но мне трудно ручаться.

– Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?

– Я ручаюсь честью, сир.

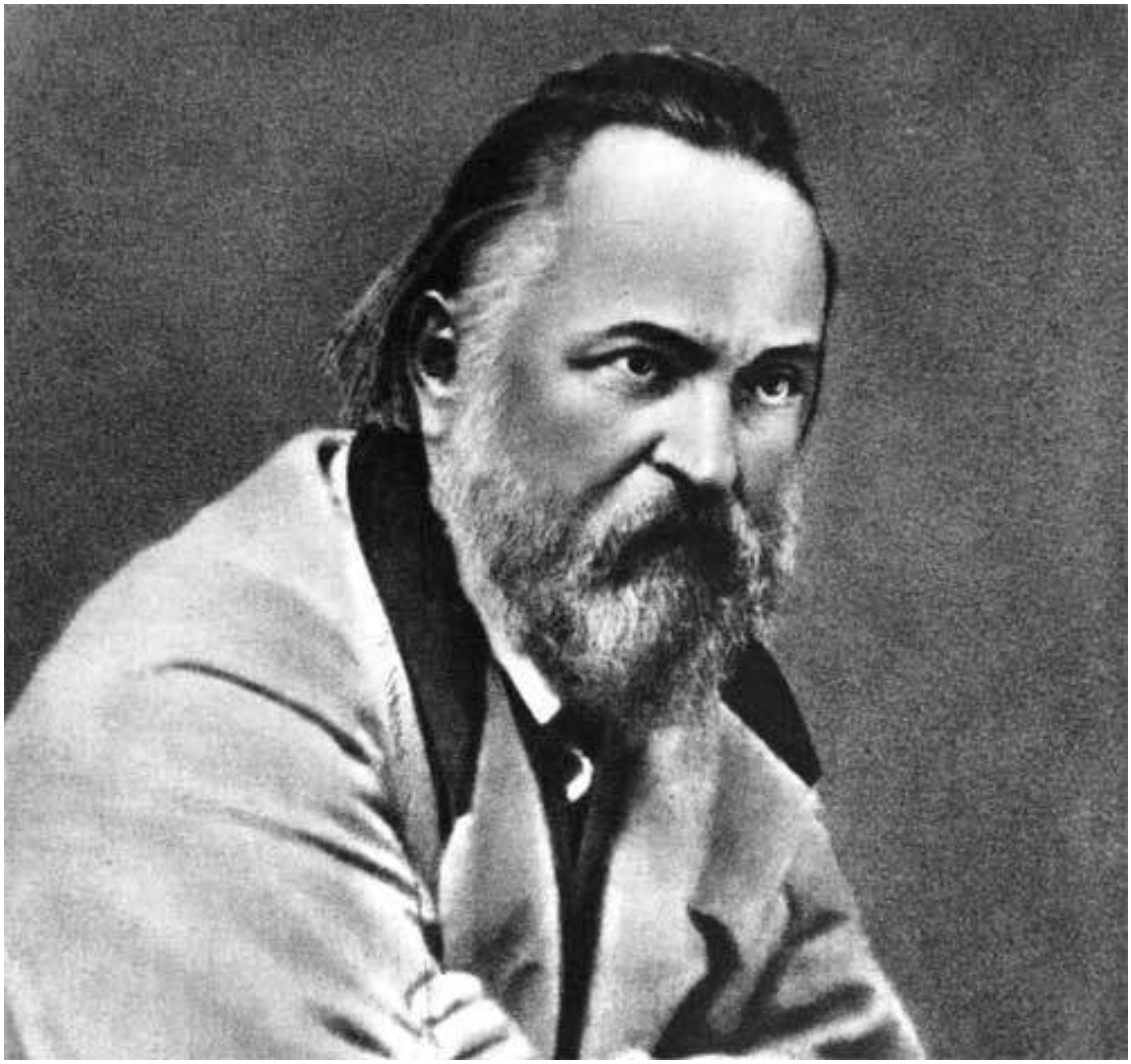
– Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?

– В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.

– Герцог Тревизский сделает, что может.

Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.

Пожар достиг в эти дни страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате, озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опалённые лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона, Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал каббалистическим словом: "Москва"; в Москве догадался и он.



А. И. Герцен

Александр Герцен – сын богатого русского помещика Ивана Алексеевича Яковлева и немки Генриетты-Вильгельмины-Луизы Гааг. Поскольку брак родителей не был оформлен, сын получил фамилию, придуманную отцом: Герцен – сын «сердца» (von Herzen, от нем. Herz, «сердце»).

Сильное впечатление на него произвело известие о восстании декабристов 14 декабря 1825 года: вместе со своим другом Николаем Огаревым он поклялся продолжить их дело, бороться за свержение самодержавия в России. После двух ссылок, понимая, что в третий раз его ждет тюрьма и каторга, Герцен навсегда покинул Россию. За границей он участвовал в революционном движении, затем в Лондоне основал Вольную русскую типографию для печатания запрещенных книг и с 1857 года издавал еженедельную газету «Колокол». Она была также запрещена, тем не менее, широко распространялась в России, являясь единственным неподцензурным российским изданием, из которого можно было узнать правду о положении в стране. Впоследствии многие приемы распространения газеты, переправки ее через границу были взяты за образец издателями других нелегальных и революционных изданий.

Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на стаде, подал ему и сказал, откланиваясь: "Я полагаюсь на ваше честное слово". На конверте было написано: "Моему брату императору Александру".

Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен московским обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.

Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.

– Что делать с вашими? – спросил казацкий генерал Иловайский, – здесь оставаться невозможно, они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.

Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.

– Сочтемся после, – сказал Иловайский, – и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени.

Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных, – я был один, возле меня сидел пьяный жандарм.

* * *

Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его; граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку (и она цела). С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева; к нему никого не пускали; один С. С. Шишков приезжал по приказанию государя расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном; он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец, Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата, которому разрешено было проститься.

Приехавши в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе (господского дома в этой деревне не было), я спал на лавке под окном, окно затворялось плохо, снег, пробиваясь, в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявши, на оконнице.

Всё было в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца утром староста и несколько дворовых с поспешностью взошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтоб она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче; она не знала, что думать, ей приходило в голову, что его убили или что его хотят убить, и потом ее. Она взяла меня на руки и, ни живая, ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую

избу, они взошли туда; старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться; громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь.

Можно себе представить положение моей матери (ей было тогда семнадцать лет) середи этих полудиких людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов; она дни, ночи плакала после его смерти. А дикие эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей, и староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее.

Лет через пятнадцать староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой, как лунь, и плешивый; моя мать угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна – вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки.

Из Ярославской губернии мы переехали в Тверскую и, наконец, через год, перебрались в Москву. К тем порам воротился из Швеции брат моего отца, бывший посланником в Вестфалии и потом ездивший зачем-то к Бернадоту; он поселился в одном доме с нами.

Я еще, как сквозь сон, помню следы пожара, остававшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них.

Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей "Илиадой" и "Одиссеей". Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так Недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было действительно самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь, дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попировать на радостях победы.

Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича, он говорил с чрезвычайною живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

* * *

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк; но исключительное чувство национальности никогда до добра не доводит; меня оно довело до следующего. Между прочими у нас бывал граф Кенсона, французский эмигрант и генерал-лейтенант русской службы. Отчаянный роялист, он участвовал на знаменитом празднике, на котором королевские опричники топтали народную кокарду и где Мария-Антуанетта пила на погибель революции.

Граф Кенсона, худой, стройный, высокий и седой старик, был тип учтивости и изящных манер. В Париже его ждало пэрство, он уже ездил поздравлять Людовика XVIII с местом и возвратился в Россию для продажи именья. Надобно было, на мою беду, чтоб вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне.

– Да, ведь вы, стало, сражались против нас? – спросил я его пренаивно.

– Нет, я сражался в русской армии.

– Как, – сказал я, – вы француз и были в нашей армии, это не может быть!

Отец мой строго взглянул на меня и замял разговор. Граф геройски поправил дело, он сказал, обращаясь к моему отцу, что "ему нравятся такие патриотические чувства". Отцу

моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. "Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять, граф из верности своему королю служил нашему императору". Действительно, я этого не понимал…

Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его – еще дольше; они хотели устроить, какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками? Хозяйство было общее, именье нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка, стало быть, были налицо.

У моего отца был еще брат, старший обоих, с которым он и Сенатор находились в открытом разрыве; несмотря на то, они именьем управляли вместе, то есть разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющ. Два брата делали все наперекор старшему, он – им. Старосты и крестьяне теряли голову: один требует подвод, другой сена, третий дров, каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту, – меньшие сменяют его через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначают другого, которого старший брат не признает. При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты и которых тормошили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустройством капризных требований.

Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их, – потерю огромного процесса с графами Девиер, в котором они были правы. Имея один интерес, они не могли никогда согласиться в образе действия; противная партия, естественно, воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имения, сенат приговорил каждого из братьев к уплате убытков по тридцати тысячи рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они решились разделиться. Около года продолжались приуготовительные толки, именье было разбито на три довольно ровные части, судьба должна была решить, кому какая достанется. Сенатор и мой отец ездили к брату, которого не видали несколько лет, для переговоров и примирения.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное именье в Рузском уезде. На следующий год мы жили там целое лето; в продолжение этого времени Сенатор купил себе дом на Арбате; мы приехали одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мертвую. Вскоре потом и отец мой купил тоже дом в Старой Конюшенной.

* * *

В сущности, скорее надобно дивиться – как Сенатор мог так долго жить под одной крышей с моим отцом, чем тому, что они разъехались. Я редко видал двух человек более противоположных, как они.

Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, несмотря даже на то что все события с 1789 до 1815 не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов посылал его к лорду Грейвилю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 году Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом "при царе Ерёме", как выражался мой отец в минуты досады, Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует.

Лейб-гвардии капитаном Измайловского полка он находился при миссии в Лондоне; Павел, увидя это в списках, велел ему немедленно явиться в Петербург. Дипломат-воин отправился с первым кораблем и явился на развод.

– Хочешь оставаться в Лондоне? – спросил сиплым голосом Павел.

– Если вашему величеству угодно будет мне позволить, – отвечал капитан при посольстве.

– Ступай назад, не теряя времени, – ответил Павел сиплым голосом, и он отправился, не повидавшись даже с родными, жившими в Москве.

Пока дипломатические вопросы разрешались штыками и картечью, он был посланником и заключил свою дипломатическую карьеру во время Венского конгресса, этого светлого праздника всех дипломатий. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы, начальником Александрийского института и все исполнял с рвением, которое вряд было ли нужно, с строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал.

Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день две четверки здоровых лошадей: одну утром, одну после обеда. Сверх сената, который он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверх больницы и института, он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил раза три в неделю в Английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов.

Зато он до семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах все равно каких: агрономических или медицинских, страхового от огня общества или общества естествоиспытателей… да, сверх того, зато же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту.

Нельзя ничего себе представить больше противоположного вечно движущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заезжавшему домой, как моего отца, почти никогда не выходившего со двора, ненавидевшего весь официальный мир – вечно капризного и недовольного. У нас было тоже восемь лошадей (прескверных), но наша конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч; мой отец их держал отчасти для порядка и отчасти для того, чтоб два кучера и два форейтора имели какое-нибудь занятие, сверх хождения за "Московскими ведомостями" и петушиных боев, которые они завели с успехом между каретным сараем и соседним двором.

Отец мой почти совсем не служил; воспитанный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, он лет шестнадцати поступил в Измайловский полк сержантом, послужил до павловского воцарения и вышел в отставку гвардии капитаном; в 1801 он уехал за границу и прожил, скитаясь из страны в страну, до конца 1811 года. Он возвратился с моей матерью за три месяца до моего рождения и, проживши год в тверском именье после московского пожара, переехал на житье в Москву, стараясь как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь. Живость брата ему мешала.

Смерть Александра I и 14 декабря. Террорист Буша

…Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал Сенатор; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастию, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы; шепотом подзывало меня; это был лакей Сенатора, я бросился к двери.

– Вы не слыхали? – спросил он.

– Чего?

– Государь помер в Таганроге.

Новость, эта поразила меня; я никогда прежде не думал о возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне.

Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами! Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи – останавливать кровь в жилах. Если наружная кротость Александра была личина, – не лучше ли такое лицемерие; чем наглая откровенность самовластья?



Н. П. Огарев

Николай Огарев родился в семье действительного статского советника Платона Богдановича Огарёва и Елизаветы Ивановны Баскаковой. В возрасте одиннадцати лет Огарёв познакомился с Александром Герценом, который был старше его на год; их дружба продолжалась всю жизнь. Огарев полностью разделял взгляды Герцена, юноши вместе поклялись посвятить жизнь борьбе за свободу («клятва на Воробьевых горах», на этом месте в Москве была поставлена памятная стелла в 1978 году).

В 1834 году Огарев был арестован еще ранее, чем Герцен, из-за писем, написанных «в конституционном стиле». Отбывал ссылку в Пензенской губернии; в 1850 году был второй раз арестован за участие в «коммунистической секте». В 1856 году Огарёв эмигрировал в Великобританию; жил в Лондоне, где вместе с Герценом возглавил Вольную русскую типографию. Был одним из инициаторов и соредактором еженедельника «Колокол».

…Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда; сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли «в пушки».

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о Исаакиевской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли из деревни»; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо.

В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии; но систематического преследования не было. Тайная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии над начальством старого вольтерианца, остряка и болтуна и юмориста, вроде Куи-де-Санглена. При Николае де-Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же, чем был; по одному этому легко вымерить разницу царствований.

Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь всё бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «Ваше величество, у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан.

После 14 декабря тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно.

Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких… и у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является – то Люсиль Демулен, эта Офелия революции, бродящая возле топора, ожидая свой черед, то Ж. Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо.

Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию; почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о несчастных.

* * *

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, – коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце… Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.

Народ русский отвык от смертных казней: после Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь de jure не существовала. Рассказывают, что при Павле на Дону было какое-то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман представил дело государю. «Все они бабы, – сказал Павел, – они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен», – и заменил ее каторжной работой.

Николай ввел смертную казнь в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле. Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное – глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он «пребывал к ним благосклонен», не больше.

В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами; от дочерей Августа до Поппеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остается; мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двоится: с одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, или с опущенными щеками, как у Галбы; последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле.

Но есть и другой – это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть – повелевать; ум узок, сердца совсем нет – это монахи властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы гвардейские и армейские императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов. Я понимаю необходимость этих угрюмых и непреклонных стражей возле умирающего в бешенстве, но зачем они возникающему, юному?..

* * *

Несмотря на то что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал, в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича Константина, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время

коронации он шел возле бледного Николая, с насупившимися светло-желтого цвета взъерошенными бровями, в мундире литовской гвардии с желтым воротником, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. Обвенчавши, в качестве отца посаженого, Николая с Россией, он уехал додразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года (варшавское восстание) о нем не было слышно.

Некрасив был мой герой, такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал гатчинским, если б не видал сардинского короля.

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И, Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами; «Дай бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева; я их переписывал тайком… (а теперь печатаю явно!)

Разумеется, что и чтение мое переменилось. Политика вперед, а главное история французской революции. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от француза-учителя, старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

– Зачем, – спросил я его середь урока, – казнили Людвика XVI?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

– Потому что он изменил отечеству.

– Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

– Обеими руками.

Этот урок стоил многого, для меня было довольно: ясное дело, что поделом казнили короля. Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки, он часто говаривал: «Из вас ничего не выйдет», но когда заметил мою симпатию к его идеям, он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. Он с тою же важностию, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

– Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

Клятва на Воробьевых горах

…Как-то мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке; он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем, прибавил он, – мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака, – это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него – к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником (Николай Огарев), мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.

Около того времени умерла бабушка Ника, матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку.

Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана», от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюонахте Фогта – переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

– Всё так, – заметил юный князь О., – но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега, стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича Константина!

* * *

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места – Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Воробьевы горы скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состариться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, облепившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.



Николай I

Российский самодержец с 1825 по 1855 год. При его восшествии на престол 14 декабря 1825 года произошло восстание на Сенатской площади в Петербурге, участники которого выступили против самодержавия. Подавив восстание, Николай усилил режим единоличной власти в России, который объяснял особенностями российского общества: «В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа; где есть отечественные законы и твердость в управлении… каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и, спокойный в настоящем, может смотреть с надеждою в будущее».

Для охраны государственного порядка было создано III отделение императорской канцелярии и Корпус жандармов, имевшие право вторгаться даже в личную жизнь граждан. В то же время разросся аппарат чиновников, управлявших и контролировавших все, что происходило в стране; в среде чиновников царили произвол, всевозможные злоупотребления и взяточничество. При отсутствии политических и экономических свобод

Россия стала существенно отставать от Европы, что привело к поражению в Крымской войне 1853–1856 гг.

Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; император Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма Христа Спасителя в этом месте, – и этот камень сделался последним.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.